

В. Г. ОДИНОВ

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕМИНИСЦЕНЦИИ
В «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

Существенным приемом художественного обобщения в «Записках из подполья» являются ссылки на литературных героев. Среди них особое место занимает гоголевский Поприщин. Исследователями была отмечена генетическая связь «Записок из подполья» с «Записками сумасшедшего».¹

Достоевский не только типологически сблизил своего героя с персонажем гоголевской повести, но и упомянул его в определенном контексте исповеди «подпольного парадоксалиста». Контекст дает возможность точно зафиксировать реакцию героя повести Достоевского на его литературного «двойника», каким по сути и является Поприщин.

Писатель, таким образом, не только включает проблематику «Записок сумасшедшего» в «Записки из подполья», но извлекает из соотносительности этих произведений дополнительный смысл. Возникает как бы некий ансамбль, в котором обогащается смысл не только гоголевской повести, но и повести Достоевского.

Герой «подполья» беспощадно критикует себя, но с оглядкой на определенный тип русской жизни. Таким типом является русский «романтик». Н. М. Чирков считает, что «осмеяние „русского романтика“, его „широты“ у „подпольного человека“ есть осмеяние самого себя, форма самоотрицания».²

Форма самоотрицания перерастает в самоанализ героя, в котором принимает участие и автор. Разумеется, авторское сознание не растворяется в мыслях персонажа. Оно возникает как дополнительный компонент в художественной структуре повествования. Тонкий авторский расчет состоит в том, чтобы в предусмотренном пункте рассуждений героя включить мотив «испанского короля».

¹ См.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973, с. 429.

² Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М., 1967, с. 53.

На безумие Поприщина Достоевский налагает стереотип мышления русского «романтика». Сумасшествие Поприщина косвенно объясняется внутренней сущностью российского «романтизма». Об этой сущности в «Записках из подполья» сказано: «Свойства нашего романтика — это всё понимать, *всё видеть, и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы*; ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; всё обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пепсиончики, звездочки)» (5, 126).

В соответствии с этим «сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы <...> такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолебенении пощелкивают» (5, 127).

А если вдруг на это не хватит сил, если натура окажется жидковатой? Тогда в перспективе маячит судьба Поприщина. Она угрожает и «подпольному герою», хотя сам он этого и не сознает. Не сознавая, он очень близко стоит к гоголевскому персонажу. В «подпольном парадоксалисте» и в Поприщине зреет демократический бунт, характерный для «маленького человека». Но это бунт невоплощенный, «утробный». «Я, например, — признается герой «Записок из подполья», — искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался» (5, 126). Не «плевался» и Поприщин, и, между прочим, потому, что «сам там сидел и деньги за то получал». «Подпольный» объясняет: «Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде „испанского короля“...» (5, 126).

Итак, Поприщин попал в разряд тех «романтиков», которые от пегудач сходят с ума. «Подпольный» клеймит тип «романтиков», которые «значительные чины впоследствии происходят» (5, 127). Но чем он в сущности отличается от Поприщина?

Объективно они воплощают одну социальную и психологическую закономерность, думая и чувствуя каждый по-разному. В истоках их бунта, как уже сказано, лежит их крайняя социальная и общественная униженность. От этого порога они и начинают свой путь к доказательству значительности их персон, путь к полной «свободе».

«Подпольный романтик» выдает себя за поборника идеи свободы. Поприщин — тоже «романтик», притом «чистый» романтик. Ведь он, как и «подпольный», ничего не может сделать для себя на пути обретения земных благ. Его сумасшествие и есть кратчайший путь к воплощению мечты о свободе и пезависии-

мости. Эта мечта олицетворяется в образе «испанского короля», которому «всё позволено». Центральная мысль «подпольного» в «зеркале» Поприщина выглядит как идея сильной личности. Эта идея не искажается патологическим сознанием Поприщина. Сама идея, действительно, «сумасшедшая», но она может принадлежать вполне нормальному человеку. Здесь важна перспектива развития ее у Достоевского. В сознании Раскольникова, например, «испанский король» заменяется «Наполеоном», которому тоже «всё позволено». Но это произойдет позже. Зерно же аналогичной мысли заложено в сознании «подпольного», как и в сознании Поприщина, который «реализовал» тайное побуждение «подпольного парадоксалиста».

Стоило Поприщину себя выделить среди остальных, стоило подумать: «...будем и мы полковником, а может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше», — как путь к «испанскому королю» обозначился довольно явственно. То, что так прямолинейно выглядит у Поприщина, у «подпольного» принимает чрезвычайно запутанный вид. Но все его логические построения в конечном итоге сводятся к утверждению его «я», противостоящему всем остальным. Он, «маленький человек», недоумевает по поводу своей непохожести на других: «Я-то один, а они-то *все*» (5, 125). А свое слияние с себе подобными он с горькой иронией осуждает: «Раз даже совсем подружился с пими (канцелярскими чиновниками, — *В. О.*), стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать...» (5, 126).

Впрочем, Поприщин также отмежевывает себя от типичной среды, к которой принадлежал, когда заявляет, что не будет ходить в департамент и не станет «переписывать гадких бумаг». Герой «подполья» отстаивает «свой каприз» для того, чтобы сохранить личность и индивидуальность. Поприщин стоит на «своем капризе» до последнего вздоха.

Г. А. Гуковский обратил внимание на безумную дату в «Записках сумасшедшего»: «Год 2000, апреля 43 числа». «Дата, — пишет Гуковский, — выражает сущность мании несчастного — мании „грандиозы“: он — король, он больше, выше всех людей, — и таково же должно быть все, что его окружает; другие люди топчутся где-то еще в 1833 году, ну а король — тот сразу отхватил круглой цифрой и поболее простых людей — две тысячи. Другие люди ограничены мелочью дней: не более тридцати — тридцати одного в месяц, а королю нет препон прожить за месяц и сорок с лишним дней. Как видим, в этой первой безумной помете — дате есть, однако, своя логика, т. е. еще своя разумность...»³

Здесь, конечно, есть своя разумность, как и в «опровержении» «подпольным парадоксалистом» формулы «дважды два — четыре». Его утверждение: «дважды два — пять» — соответствует бунту

³ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.—Л., 1959, с. 302.

Поприщина против обычного порядка вещей. «„Помилуйте, — закричат вам, — говорит герой Достоевского, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д. и т. д.“. Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (5, 105—106).

Демократический в своих истоках бунт «маленького человека» переплавляется в сознание права сильного утверждать себя среди «тварей дрожащих». Это и есть по сути «тайна», скрытая у «подпольного героя» за словами о «своем капризе» и о выгоде, которая «приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка», ибо «сохраняет нам самое главное и самое дорогое» — нашу индивидуальность. В судьбе и личности «подпольного» контурно спроецирован гоголевский герой с его «королевскими» притязаниями.

Г. М. Фридендер пишет: «Достоевский сознавал, что повседневная будничная жизнь общества его эпохи рождает не только материальную нищету и бесправие. Она вызывает к жизни также, в качестве их необходимого духовного дополнения, различного рода фантастические „идеи“ и идеологические иллюзии...»⁴

Фигура безумного Поприщина оттеняет скрытую до времени взрывную силу рассуждений героя «Записок из подполья». Спасают «подпольного» от трагических последствий «литературность» его жизненной практики и глубокий самоанализ, связанный с пробудившимся ощущением «живой жизни». В самокритическом порыве он произносит: «Ведь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь“ чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжкам лучше» (5, 178).

Преодолевая философию «подполья», герой Достоевского более или менее удачно минует ее трагические последствия. Его «записки» демонстрируют новый уровень самосознания. Структура времени в повести такова, что все настоящее, происходящее в данный момент, — это фактически уже прошедшее. И повествователь в каждом из описываемых моментов в чем-то уже не совпадает со своим alter ego. Это расширяет идейно-художественную перспективу образа.

⁴ Фридендер Г. М. Достоевский в современном мире. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1974, с. 19.

Английский литературовед Р. Пис отмечает в «подпольном человеке» гипертрофированную чувствительность, которую тот называет «сознанием». Это, по мнению ученого, соединяет его с ранними образами «мечтателей» Достоевского. Вместе с тем центральный персонаж в «Записках из подполья» осложняется: «С одной стороны, сознание заставляет подпольного человека чувствовать превосходство над своими собратьями: он прозревает то, чего они не видят. С другой стороны, сознание проступает в чувстве ответственности перед пахучими эксцессами своего поведения и является причиной острого страдания. Эти два аспекта сознания получают развитие в позднейших романах. И если мучительная восприимчивость — постоянная черта характерологии Достоевского, позитивной стороне сознания — способности к замечательному прозрению — предназначено стать краеугольным камнем в собственно авторской философии».⁵

Разнообразные потенции, заложенные в героя, углубляются при типологическом его сопоставлении с Поприциным. Трагизм обнаруживается у Достоевского, как и у Гоголя, тогда, когда герой прорывается через сеть ложных представлений в мир добра, любви, человечности, когда он переходит в другую систему нравственных понятий, освобождаясь от цепких лап породившей его общественно-психологической закономерности.

«Подпольный герой» не проходит через трагическую фазу, так как его идея не достигает своего предельного уровня и не реализуется в этом качестве в поступках. Кризис его мировоззрения разрешается без того глубочайшего потрясения, которое переживает Поприцин. «Бес величия», «выходя» в финале из Поприципа, разрушает его брэнное тело. Но он возвышается духом. Полнейшая бессмыслица последней даты-пометы его записок говорит о том, что он выломился не только из будничной повседневности, но из всей системы представлений и понятий окружающей его среды. И только в полном отказе от прошлого он обрел новое мироощущение, прозрел истинно великое, стал человеком. Но состояние это не продлилось. Он вновь погрузился во мрак безумия и, очевидно, вскоре умер. Впрочем, у Достоевского и в «Записках из подполья», и в «Преступлении и наказании» финалы открыты, новая жизнь не изображена.

Гоголевская тема возрождения человека повторяется в «Записках из подполья». Поприцин в финале типичен как явление человеческой полноценности, а не как социальный продукт уродливой среды. Герой «подполья» ощущает свою связь с аналогичной средой, но внутренне с ней не согласен. «Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: „Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: *«все мы»*“. Позвольте, господа, ведь

⁵ Pease R. Dostoyevsky. An examination of the major novels. Cambridge, 1971, p. 18.

не оправдываюсь же я этим *всемством*. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины...» (5, 178).⁶

Впрочем, герой только подумал, что доводил до крайности те тенденции, которые существовали в обществе как начала, как скрытые силы. Крайность его взглядов выявилась со всей очевидностью тогда, когда в последующих произведениях Достоевского идеи были вооружены «топором» и прошли испытание кровью. Вот тогда и наступил их трагический крах. Человечность отомстила за себя, как она отомстила и Поприщину, который свою мечту о силе и власти довел до возможного предела и оказался погребенным под ее развалинами.

«Записки из подполья» были лишь начальным пунктом в эволюции теории «сверхчеловека». Но в них уже открывались трагические крайности. Эти крайности выявлялись в особой структуре повествования, в использовании чужого «текста», который играл особую функциональную роль, создавая глубокую идейно-художественную перспективу.

Задолго до того как Достоевский продолжил тему русского «подполья» и завершил ее романом «Бесы», он уже провидел ее финальное развитие в «Записках из подполья». Слово автора, его приговор выразились в отмеченном нами втором, «зеркальном», плане, «спровоцированном» художником одной литературной реминисценцией.

⁶ Р. Пис подчеркивает, что «подпольный человек», отказывая в уважении себе, имеет в виду и читателя, с которым сопоставляется (см.: P e a s e R. Dostoyevsky... , p. 15).